

5---

Д. Л. МОРДОВЦЕВ

КУМ ИВАН

(Историческая повесть)



1947

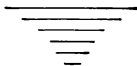
Регенсбург

1947

Д. Л. МОРДОВЦЕВ

КУМ ИВАН

(ИСТОРИЧЕСКАЯ БЫЛЬ)



1947

I

Неизвестный путник

Был прекрасный, яркий зимний день, какие бывают на Руси в конце января или в начале февраля. Лучи на этот раз холодного солнца искрились придиевыми блестками в морозной, кристаллизованной пыли. Северный ветерок, тихий, но режущий, переметал через дорогу белые струйки сухих снежинок-позёмки.

Солнце, однако, клонилось уже к закату и еще ярче, казалось, сверкало на золотых маковках и крестах московских церквей и башен Кремля.

В это время из Серпуховских ворот вышел высокий и плечистый мужик в меховой шапке-треухе, в дубленом тулупе и белых, подбитых кожей валенках на ногах. Большая рыжая борода его и усы, несколько подрезанные вдоль верхней губы,

серебрились морозным инеем. Опираясь на длинный посох, рыжий мужик шел ровною, бодрою поступью, не глядя по сторонам, хотя серые, живые и, позидимому, хитрые глаза как будто что из-подтишка высматривали.

То, что в настоящее время давно составляет городские заречные части Москвы, тогда, четыреста лет назад, представляло расбросанные подгородные поселки и деревни, отделявшиеся от города полями, а частью садами и огородами. В один из таких поселков, повидимому, и направлялся рыжий мужик.

Но едва наш путник отошел от города на такое расстояние, которое скорее приближало его к поселку, чем к городу, как снег-позёмка стал срываться с земли порывистее и крутиться вихрем, а до того яркое солнце заволокло скоро не то этими крутыми ветром позёмками, не то густыми снеговыми тучами. Скоро оказалось, что действительно повалил снег, который, будучи гоним ветром и крутясь вместе с позёмкою, начал хлестать в лицо, в глаза и наметать сугробы. Начинаясь пурга, буран. Это тот обыкновенный, причудливый и опасный каприз нашей суровой зимы, который даже привычного к

своей родной вьюге мужика застает врас-
плох, как знойный хамсин араба в пусты-
не: буран останавливает и замедляет обозы
в поле; заставляет мужика, выехавшего в
лес за дровами или в ближний луг к сво-
ему стогу сена, — ночевать или под этим
стогом в снежном сугробе, или у своей же
околицы, а то и замерзнуть у этой околи-
цы; он застает баб с бельем на речке, и
ослепляемые „пониухю“ — понизовую мя-
телью и вьюгою порывисто мчащихся с
ветром снеговых туч, бабы едва-едва по-
падают ко дворам. Это тот каприз зимы,
когда, в самый разгар вьюги, в селах на-
чинают звонить в колокола, точно на по-
жар, чтобы погибающие в поле путники
могли идти на звон, подобно тому, как по-
гибающие на море в бурю корабли могли
бы держать путь на огонь спасительного
маяка.

— Свят-свят-свят! — невольно остано-
вился наш путник и, перекрестясь, стал
оглядываться. — Вот в недобрый час вы-
шел.

Он поворотился лицом туда, где долж-
на была находиться Москва. Но с той сто-
роны именно и неслась снежная буря,
бросая в лицо и в глаза снег комьями.

— Батюшки светы! — ии к Москве мне

не попасть. А Котлы, кажись, недалече — пойду в Котлы.

И он, распустив треух малахая и на-
двинув его на самые глаза, бодро зашагал
вперед.

Буря гнала его в спину, а впереди снеж-
ные облака застилала и даль, и близь, на-
метая сугробы и отнимая у путника пос-
ледний след дороги.

— Госноди! что-ж это такое? да туда
ли я, полно, иду?

Сугробы попадались все чаще и чаще.
Ноги вязли в снегу по колена; итти было
все труднее и труднее. Сумерки надвину-
лись так быстро, что в каких нибудь пол-
часа на землю налегла непроглядная тьма.

Путник остановился.

— Боже всеильный! спаси от наглые
смерти,—шептал он растерянно: — пощади
не ради меня окаянного, а ради народа
твоего, православного крестьянства. Где я?

Как бы в ответ на его отчаянную моль-
бу, где-то вправо послышался заглушае-
мый бурей слабый крик петуха.

— Петел возгласи, Госноди! — перекре-
стился он: — не знамение ли сие, аки Пет-
ру апостолу? Полно, петух ли это? не по-
чудилось ли мне то в вое ветра?

Он тревожно прислушался. Теперь он

явственно услышал то, к чему жадно прислушивался; но ему от этого еще страшнее стало: петух прокричал теперь не с правой стороны, а где-то далеко влево.

— Куда итти? Силы небесные!

Но оставаться было невозможно: снег заносил его, наметая кругом все большие и большие сугробы; от трудной ходьбы и внутреннего волнения он чувствовал страшную усталость и пот градом катился изпод малахая.

Пойду вправо, правым путем... А правым ли путем шел я доселе?—мелькнуло вдруг в его смущенной мысли. — Господи! пощади окаянного: с сего часу буду итти всю жизнь правым путем — Твоим путем, Господи!

Он еще раз перекрестился и взял вправо, по тому направлению, откуда в первый раз донесся до него голос петуха. Но потому ли, что ветер переменился, или он круто сбился с пути, но только теперь порывами бури снег несло ему не в затылок, а прямо в лицо. Ноги его постоянно вязли в сугробах, а когда он выбирался из сугроба, то попадал или в рытвину, или на кочки. Под ним подкашивались ноги, звенело в ушах. Ему чудилось, что он слы-

шит отдаленный звон почтового колокольчика.

— Да, да, колоколец... Сказывают, что бевсовская свадьба... Свят-свят-свят! с нами крестная сила.

И он со страхом прижимал руку к груди, где под тулупом нащупывал тельный крест свой, с которым не расставался всю жизнь.

Но вот ему показалось, что невдалеке блеснул огонек, но как-то странно, точно он двигался и мигал.

— Не волк ли светит очами? Час от часу не легче.

Он наткнулся на что-то в роде загороди и ощупал.

— Плетень, точно—жилье, должно, недалеко.

Он пошел вдоль плетня. Впереди опять мелькнул огонек, и уже гораздо явственнее.

— Слава тебе, Боже всесильный! не оставил меня.

Но около плетня нельзя было идти дальше — сугробы намело непроходимые. Он повернул в сторону. Путеводный огонек исчез.

Путник собрал последние силы и с решимостью отчаяния двинулся вперед. В

глазах у него темнело, ноги дрожали и заплетались, звон в ушах все усиливался и усиливался.

— Изба! — прошептал он не то радостно, не то испуганно.

Из-за неплотно прикрытой ставни светился огонек. Прохожий подошел к окну.

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! — постучал он палкою в ставню.

Но обычного ответа: „аминь“ из избы не последовало.

Он снова постучал.

— Господи Иисусе...

— Кто там шляется в эту непогодь по ночам? — раздался со двора сердитый голос.

— Прохожий заплутался,—был ответ:—пусти, человек пере ночевать.

— Коли прохожий, так и проходи,—снова отвечали сердито:—у меня не съезжий двор.

— Я Христом Богом прошу: не дай погибнуть душе православной.

— То-то погибнуть! Кто тебя знает: может, сам души губишь! Иди себе, ищи мест у других.

Прохожий поднял было палку, но рука его моментально остановилась в воздухе;

только в глазах, на которые упала полоса света из окна, блеснул зловещий огонь.

— Га! души гублю... Может, и вправду, — прошептал прохожий, отступая от окна: — может, за это и наглуую смерть посылает мне Господь... Ого!

Он зашагал дальше, бормоча как бы в забытье: „Помни это, Иванушка, помни: сам, может, души губишь... Ох, много, много погубил — сам знаю мое окаянство“.

Вдруг нога его споткнулась обо что-то. Он нагнулся. Это была небольшая дверца калитки, сорванная ветром. Прохожий вошел в калитку. Вправо, в маленьком подслеповатом окошечке, затянутом пузырем вместо стекла, мигал огонек, вероятно, от лучины.

Прохожий и тут постучался. На обычное обращение — „Господи Иисусе“ — из избушки последовал ответ: „аминь“.

Скоро сенная дверка скрипнула, и кто-то вышел из избушки.

— Кого Бог принес? — послышался оклик.

— Прохожий, кормилец... Непогодь загнала, с пути сбился, думал в поле замерзнуть... Пусти, родимый, на ночь: не дай погивуть душе крестьянской.

— Что ты, что ты, отец родной! — от-

вечал приветливый голос: — али на мне креста нету? Ноли я сам не вижу, что в поле теперь смерть в очи глядит? — Взойди ко мне, переночуй. Только — сказать ли тебе, отец родной? — у меня в избе-ту не ладно...

— Чем не ладно?

— Да как тебе сказать? — Жена-ту моя опростаться собралась.

— Как? умирает? — участливо спросил прохожий.

— Нету, где умирать! — рожать собралась; не даст она тебе всю ночь покою.

— Ничего, милый человек; под забором-то хуже замерзнуть.

— И то, и то. Ну, ин иди с Богом, переночуй.

II

„Не ангел ли это?“

Добрый мужичек ввел прохожего в маленькие сенцы. Так как неожиданный гость был мужик рослый, то он должен был согнуться чтоб войти в низенькую дверь.

— Постой, милый человек, дай мне отряхнуться малость, — сказал гость: — вон

что на мне снегу, как бы избу твою не выстудить.

— Отряхнись, отец, отряхнись. .

Скоро и хозяин, и гость вошли в избу. Избенка была бедненькая, тесная. Закоптелые стены в иных местах завалились. У печи, над лоханью, трещала лучина. В избе не было никого, только из печурки выглядывала белая кошечка и усердно умывалась лапкой.

— И вправду, милая, к гостям умывается, — улыбнулся мужичек-хозяин.

Гость вошел, отыскал глазами в переднем углу закоптелый деревянный образок и набожно три раза перекрестился.

— Мир дому сему, — сказал он, кланяясь хозяину и кладя малахай на лавку.

Тот, в свою очередь, поклонился.

Гость, с помощью хозяина, распоясался, снял тулуп и остался в суконном кафтане.

— За кого же я должен молиться? — ласково обратился он к хозяину, вытирая цветной ширинкой мокрое лицо и бороду. — Как зовут тебя, милый человек?

— Киткой меня дразнят, отец родной, — сказал улыбаясь хозяин: — Киткой Голодранцем: Китом меня поп окрестил; вот я и Китка; а Голодранец — по шерсти кличка; видишь, отец, голо.

И он, попрежнему добродушно улыбаясь, развел руками, показывая, что не красна его изба ни углами, ни пирогами. Сам он был маленький, тщедушный, с редкой бородашкой и белыми как кипень зубами; но в маленьком лице было столько добродушия и честной прямоты, что оно сразу располагало к нему всякого:

— Видишь, отец, — пояснил он: — не красна изба ни углами, ни пирогами, а и всей скотинки-ту у меня — одна кошечка.

И он погладил кошечку, которая вылезла из печурки и терлась у ног гостя, грациозно выгибая свою пушистую спинку, а потом вскоре перебралась к нему на колени.

Гость уже сидел на лавке, опершись локтем о стол, и видимо отдыхал. Выразительные глаза его были задумчивы и грустны. Он машинально гладил кошечку и что-то, повидимому, соображал: в глазах светился не то укор, не то смущение.

Вдруг послышался слабый стон.

— Что это? — встрепенулся гость.

— Это, отец, баба моя на печке, — смущенно заговорил хозяин: — я сказывал тебе.

— Знаю, знаю. Вот что, Тит, — а как по отчеству?

— Захаров был.

— Вот что, Тит Захарыч, — сказал гость, вставая: — уж коли ты не дал мне замерзнуть под забором, так буду я тебе кумом — крестным отцом младенца, которого ныне вам Бог посылает.

Тит радостно заволновался.

— Ах, отец родной! век за тебя будем Бога молить: вить ко мне, к нищему, никто в кумовья не пойдет; а вот тебя Бог послал, вестимо, Он сам Батюшка. Вон и куму-то даве насилу выплакала моя Орина у соседа, в ногах валялась: шибко поровист богатый соседушко.

— А кто такой? — спросил гость.

— Да Илья Щекин.

— Это тот, что изба тут большая?

— Он и есть; богатей на всю губу.

— Точно? А меня взашей прогнал из-под окошка, когда я просился к нему ночевать. Не постучись я к тебе, пришлось бы замерзать под забором.

— Оо-хо-хо! — вздохнул Тит: — до чего богатство доводит — Бога богатые забывают.

При этих словах гость как-то особенно странно взглянул на хозяина: взгляд этот говорил что-то, допрашивал, казалось, о чем-то, ждал ответа; но простоватый Кит-

ка ничего не понял, и ему как будто чего-то страшно стало.

Он нерешительно глянул в глаза незнакомцу. Никогда не видал он таких глаз. Ему казалось, что если такими глазами глянуть на печь — печь развалится, на дерево — дерево усохнет. А между тем в глазах светилось что-то доброе, ласковое. И он с суеверным страхом стал молиться в душе; но этот страх был особенный. Ему почему-то тут же припомнились слова батюшки, отца Нифонта: „странного прирмешь — ангела прирмешь, а то и самого Христа“. А может, и в самом деле ему Бог ангела послал. Так нет: он видел в церкви ангелов на образах — все молоденькие, „в роде как бы девушек, а то и махоньких ребяток с крылышками“. А этот — здоровый мужик, да и борода рыжая — большая. Зато руки незнакомца поразили Китку: таких рук, как и глаз, он никогда не видывал.

На печке повторился стон.

— Китушка родной, беги за бабушкой: час мой настал.

Тит заметался по избе, отыскивая шапку.

— Не осуди, отец родной, — робко обратился он к пришельцу: — я побегу.

— Беги, беги, милый человек.

— А как же ты не поужинавши?

— Я не голоден, милый человек, я только устал; лягу на лавку, укурюсь тулупом, усну себе, а тем временем Бог подарит меня крестником, не хочу крестницы!

Хозяин ушел, а гость, оставшись один, опустил на колени и стал горячо, со слезами на глазах, молиться. Долго он молился, долго шептал молитвы, а потом, улегшись на лавку и укрывшись с головой тулупом, скоро заснул крепким сном.

III

Неожиданное кумовство

Зимнее яркое утреннее солнце сквозь прозрачный пузырь заглядывало уже в бедную избушку Тита, когда незнакомец, спавший на лавке, проснулся. Он сбросил с себя тулуп, торопливо поднялся и перекрестился. Глаза его изумленно оглядели ветхую избушку и, казалось, говорили: „где я? что со мной?“

Но скоро взгляд незнакомца засветился радостью. Белая кошечка уже терлась около его ног,

— А! Тит Захарыч, здравствуй! — весело сказал он.

— Здравия желаю, кормилец; как почивал? — засуетился хозяин.

— Отменно, милый человек; давно так не спал.

Послышался крик новорожденного.

— А! кого Бог дал? — улыбнулся незнакомец.

— Сына, отец родной.

— Я так и знал — не люблю девчонок. А когда же крестины? Мне надо спешить в Москву — дело есть.

— Как прикажешь, отец родной, — хоть сейчас.

— Добро! а мне ждть некогда.

Тит опрометью бросился звать бабушку и куму. Незнакомец остался один в избе, да на печи, слышно, роженица возилась с ребенком.

Странная улыбка играла на выразительном, несколько суровом лице незнакомца. Он так задумался, сидя у стола и подперев ладонью голову, что и не заметил сразу, как хозяин тихо вошел в избу, в сопровождении какой-то бабы.

— А! это ты, Тит Захарыч.

— Я отец, а вот и кума.

— Жена соседа, что вчера...

Незнакомец не договорил. В дверях показался священник. Это был старенький попик с кроткими голубыми глазами и благообразным лицом.

Незнакомец при входе встал и подошел под благословение.

— Благослови, отче.

Священник глянул на незнакомца, и какая-то внезапная мысль поразила его. Он где-то видел это лицо. Как молния, память перенесла его в Москву, в Архангельский собор. Там он видел это лицо, но в какой-то другой обстановке. Казалось, он видел его там в каком-то сиянии, в золоте. Но не образ ли он это видел в соборе? — Нет, не образ, а живое лицо...

Он вспомнил, и весь задрожал. Изба, казалось, заходила кругом... Он упал на колени...

— Не мне благословлять тебя, — бормотал он растерянно; — ты благослови меня.

Все это произошло необыкновенно быстро, так что едва ли кто и заметил случившееся в избе.

Священник глянул в глаза незнакомцу и увидел, что тот приложил палец ко рту. Глаза незнакомца все сказали, и растерявшийся попик понял это. Он быстро

вскочил с полу и сделал широкое крестное знамение.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа...

— Аминь.

Незнакомец смиренно принял благословение от священника и поцеловал его руку. Поцелуй этот, казалось, обжог благословляющую десницу скромного служителя церкви. Он не знал, как ему стать, куда глянуть. Но незнакомец прервал тягостное замешательство.

— Ну, куманек, — обратился он с улыбкой к хозяину, который был точно на иголках, догадываясь о чем-то необыкновенном, что совершалось в его жалкой избенке. Особенно смущало его замешательство отца Нифонта. — „Уж в сам-деле не аньдела ли я принял?“ — шевельнулось опять в его простоватом мозгу. — „Да, нет — те с крылышками, а для Христа он, сказать бы, стар“. — Ну, куманек, — говорил этот таинственный гость: — проси батюшку крестить младенца.

— Поспешу, поспешу неукоснительно, — бормотал батюшка: — в храме или здесь?

— Здесь, здесь, — отвечал гость.

Священник торопливо вышел. Через несколько минут он воротился вместе с

дьячком, который внес в избу купель и узел с священническим облачением. Оба они казались очень взволнованными и делали все торопливо, нервно. Дьячок хлопотал с кумой около купели, устанавливая ее на неровном полу избы и наливая холодной водой из кадки, стоявшей у порога. Священник, между тем, облачился. Смущенный хозяин, его жена-роженица и кума с удивлением заметили, что отец Нифонт облачился на этот раз в лучшие свои белые глазетовые ризы, которые он надевал только в светлое Христово воскресенье и на Троицу.

По заведенному обычаю кума положила на стол принесенные ею для новорожденного „ризки“.

Таинственный гость, увидев это, вспомнил, что и он, как восприемник, должен с своей стороны принести „дар“ для воспринимаемого им нового христианина и непременно крест.

Тогда он, растегнув свой кафтан, снял с шеи великолепный золотой крест, усыпанный драгоценными камнями.

— Вот и мой дар младенцу, — сказал он, положив крест на „ризки“: — пусть носит на здравие и души спасение.

Крест сверкал разноцветными огнями.

— Отец родной, — не вытерпел Тит: — стоим ли мы, нищие захребетники, таких даров!

— Про то я знаю да Бог, — отвечал гость: — душа человеческая дражае злата и камней самоцветных, а ты, милый человек, душу мою спас — ты не дал мне помереть наглою смертию.

Приступили к крещению.

— Как же младенца-то назвать? — тихо обратился священник к родителям: — ноне память преподобных Кира и Иоанна безсребренников — не дать ли крещаемому имя Кира?

Тит смущенно глянул в глаза гостю.

— Пусть будет Иван, — сказал этот последний: — у нас ноне на Москве государствует государь великий князь Иоанн Васильевич всеа Русии.

— Аминь, — тихо и внятно произнес священник.

Едва кончился обряд крещения, (как дверь избы тихо отворилась и в нее робко вошла матушка, старушка попадья. В руках у нее был узелок. Низко поклонившись гостю и всем находившимся в избе, она развязала узелок, достала из него скатерцу, хлеб, кусок вяленой белорыбицы, берестяночку с солеными грибами и бу-

тылку заморского вина, которое отец Нифонт хранил у себя на случай посещения его убогой церкви какою либо высшею духовною особою.

Потом матушка накрыла своей скатертью стол, положила хлеб, переложила рыбу на деревянную тарелку, достала нож, которым сделала на хлебе крест, и молча поклонилась гостю, приглашая его за трапезу.

— Спасибо, матушка, — ласково сказал гость. — Отец Нифонт! благослови трапезу.

Отец Нифонт благословил.

— Садись же, отче.

Отец Нифонт смущенно переминался на месте, но садиться не решался.

— Садись же, — повторил гость, лукаво улыбаясь: — тебе подобает сидеть в переднем углу.

Но отец Нифонт не мог совладать с своей робостью и не сел.

— Ну, ин я сяду, коли так, — решил гость, пробираясь под образ.

Он сел и весело, и лукаво обвел глазами всех присутствующих.

— А помнишь, отче, русскую поговорку про передний угол? — с лукавой улыбкой обратился он к отцу Нифонту.

Тот еще больше смешался и ничего не отвечал.

— Не помнишь? так я тебе напомним, — продолжал гость тем же тоном: — в переднем углу сидит либо поп, либо дурак... Ну, ин пусть же я сей раз буду дураком.

И гость весело рассмеялся, наливая себе чарочку вина и вышивая ее маленькими глотками.

— Э! — рассмеялся он весело, ставя чарочку на стол и обращаясь к Титу: — да ты, брат кум, не промах: вишь каким винцом дурака угощаешь; на славу винцо!

— Ах, отец родной! — заметался Тит: — ах, куманек любезный! да и вино-ту не мое, и все угощенье не мое, а батюшкино, отца Нифонта. А у меня, куманек, ни синь-пороху.

— Добро, добро, — улыбался гость, закусывая грибками.

Встав из-за стола, он благодарил и отца Нифонта, и хозяев за приют и угощение, а куме и жене Тита дал несколько серебряных и золотых монет — „корабленников“.

— А теперь, куманек, — обратился он снова к хозяину: — где бы мне раздобыть клячонку да санишки, до Москвы добратся.

А Тит уже раньше выбегал на двор и видел, что сани и лошадь соседа, того самого Ильи Щекина, что ночью прогнал от своего окна путника, уже стоят у крылечка, а на козлах сидит его батрак. — „Для кого это“? — „Для твоего кума“. — „Сам Илюша прислал?“ — „Он самый“, — „Ишь догадливый! спасибо ему“.

— А? как же, куманек? будет клячка? — спрашивал гость: — вон ты меня так угостил, что я теперь сам, с-пьяну, поди, и Москвы не найду.

Ободренный Тит весело смеялся.

— Помилуй, куманек дорогой, — говорил он, кланяясь: — вон и сани стоят у крыльца.

— Спасибо, милый человек.

Гость наскоро оделся, попрощался со всеми и вышел из избы. Все провожали его с низкими поклонами.

Гость сел в сани и велел трогать.

— Как же, куманечек милый, нам помнить тебя? — кричал ему вслед растроганный Тит: — за кого молиться? да и приведет ли нам Бог видеть тебя когда?

— Так ты приходи сам ко мне на Москву в гости, — отвечал незнакомец.

— Ах, куманек, Москва не Котлы: как тебя найдешь там?

— Найдешь, спроси только кума Ивана, и тебя приведут ко мне.

Сани исчезли за сугробами снега, а озадаченные котловяне все смотрели им вслед, давно ничего не видя.

— Уж и чудной же человек! — развел руками Тит: — либо он большой боярин, либо набольший протопоп.

Отец Нифонт ничего не отвечал.

IV

Государыня Софья Фоминишна

В то время, когда в Котлах, в жалкой избе Тита крестили новорожденного, в Москве, особенно же в Кремле и в великокняжеском дворце, происходило что-то необыкновенное. Ранним утром по всему дворцу разнеслась страшная весть, что накануне еще великого князя и государя Ивана Васильевича не оказалось в княжеских палатах, и где он делся, никто ничего не ведал.

С вечера еще, ближний боярин, князь Данило Холмский, знаменитый победитель новгородцев в Шелонской битве, явившись во дворец с докладом, не нашел великого князя. Кого он не спрашивал, не видали

ли государя, все отвечали, что великого государя никто не видал с самого обеда.

Холмский явился к государыне, к великой княгине Софье Фоминишне, чтоб у нее осведомиться о государе, но и та ничего не знала.

Тогда разослали гонцов во все концы города и в Замоскворечье; но дети боярские, возвращаясь во дворец один за другим, к ужасу Холмского, докладывали, что великого князя нигде нет и никто об нем ничего не слышал.

Так прошла ночь.

Холмского пугало одно обстоятельство. Он больше других знал привычки великого князя, „собирателя Русской земли“. Он знал, что Иван Васильевич любил тайно, переодетым, ходить по городу, по базарам и площадям, чтобы лично прислушиваться к народному говору, к тому, что об нем и о его делах и подвигах думает вся Русь и доволен ли народ его порядками и людьми, долженствовавшими блюсти эти порядки. В то время на Руси не было ни газет, ни того, что в настоящее время называется общественным мнением. Все, что ни делалось на Москве и во всей Русской земле, доходило до государя или через уста ближних бояр, или чрез отписки вое-

вод и наместников. Но для умного государя этого было мало. Он сам хотел слышать, что говорят и думают о нем не одни бояре и воеводы. Он крепко верил непогрешимости народного изречения: „глас народа — глас Божий“. Он чуял своим практическим чутьем, что покорение Новгорода и суровые меры, примененные к новгородцам, вызывали в стране глухой ропот. На разорение Новгорода многие смотрели, как на ненужную, не только не полезную для государства, но совершенно вредную для него жестокость. — „Али мы татары!“ — слышал он однажды на базаре возглас новгородца: — „За то, что мы были богаты и вольны, так нас и разорять. У нас был свой вечный колокол, он говорил нам про волю; а у вас на Москве и колокола святые пикнуть не смеют“. Слова эти запали в душу великого князя, и он их не забыл, а потом все чаще и чаще прислушивался к народному говору.

Холмский знал это и, когда не нашел во дворце великого князя, то тотчас же догадался, что он прошел из дворца тайным ходом, ему одному известным, и этим же ходом возвратится во дворец. Но когда разом налетела на город вьюга, а за нею настала и ночь, а великий князь не

возвращался, Холмским овладел страх:
„Долго ли до греха в такую непогоду!“

Такие же опасения, но только в более острой степени, угнетали и великую княгиню. Она не спала всю эту ужасную ночь; она постоянно становилась на молитву, но и молитва не приносила облегчения ее смущенной душе. Стоя на коленях, или припав пылающей головой к холодному дереву кресты с чудотворным образом Богородицы, она невольно прислушивалась к вою вьюги, бушевавшей над Кремлем, и в этом вое ей слышался стон, заставлявший трепетать все ее тело.

То она подходила к кровати своего маленького сына Васюты и, глядя на его розовое, во сне улыбающееся личико, в сотый раз повторяла обычное бабье причитанье: „На кого ты нас, сирот, кормилец наш, покинул?“ — и слезы неудержимо лились из ее прекрасных черных глаз, в которых и под московскими снегами не погас огонь южного, жаркого солнца ее далекой родины.

Вот и теперь, утром, когда яркое зимнее солнце, ворвавшись целыми снопами лучей в окна терема великой княгини, сверкает золотом на шелковых узорах вышиванья, перед которым сидит, глубоко

задумавшись, Софья Фоминишна, глаза ее, видимо, заплаканы.

В эти мучительно-тревожные часы перед нею проходит вся ее жизнь. Что-то будет с нею, когда ее великого князя не станет? А если его уже нет в живых? При одной этой мысли руки ее холодеют и иголка падает на малиновый бархат ее работы.

Любила ли она его, однако? Нет, — когда она, там, в далекой, милой Италии, еще девушкой, узнала, что за нее сватается великий князь московский, ее охватил ужас. Как это ей покинуть милое южное небо, это бирюзовое море, свои привычки, всю привычную обстановку всей ее жизни, и тащиться в далекий, неведомый край, где по хмурому небу ходит такое холодное, неприветливое солнце, где царствует вечный снег, где не понимают ее родной речи и где не с кем ей будет обменяться живым словом! А каков он сам, ее нареченный жених? Варвар, в полном смысле варвар! как ей казалось.

Но выбора не было для бедной отрасли царственного дома некогда могущественных Палеологов. Внучка императоров византийских, она там, на далеком севере, должна возстановить свой царственный

род. И как горько она плакала, расставаясь с родными и отправляясь в неведомый путь!

Нет, тогда она не любила его, не могла любить!

Какой бесконечный путь, бесконечное плавание по неведомым морям! Все это теперь припомнилось ей. Чем дальше уносил ее сердце чужой корабль от ее милой родины, тем более и более ныло и тосковало это сердце. Еще когда корабль плыл вдоль италийских и гишпанских берегов, она видела с палубы этого корабля что-то свое, родное: зеленые и лазоревые горы, красивые берега, лимонные и апельсиновые рощи; красивые букеты гордых пальм, ярко-голубое небо; но чем более корабль подвигался к северу, тем однообразнее и грустнее становились картины, на которые она глядела грустными глазами: бирюзовое море сменялось каким-то свинцовым, пологие берега становились все однообразнее и небо было уже не то, что там, на ее родном юге.

Тоскливый, бесконечный путь!

Но вот однажды, пасмурным, туманным утром, когда мокрый западный ветер порывисто надувал мокрые парусы ее корабля, ей указали на низменную, такую

же туманную, как утро, полосу земли и сказали, что это — Русская земля! Какой тревогой и боязнью сжалось ее и без того истосковавшееся сердце!

Так вот она та далекая, неведомая Русская земля, где она должна похоронить свою молодость, свою красоту!.. Сыро, туманно, тоскливо кругом...

Нет, она не любила его!

Но вот она покинула и свой корабль, на котором она так много и так нерадостно думала. Теперь и корабль этот казался для нее чем-то своим, родным, близким. Но она и с ним должна была проститься, проститься навсегда!

Как она помнит эти псковские суда — „насады“, которые окружили ее корабль! Эти псковские бояре в высоких меховых шапках, эти длинные, шитые золотом кафтаны, эта незнакомая речь, как все это было не похоже на то, к чему она привыкла с детства!..

Вот они плывут Наровою по землям великого Пскова... Вот и Псков, торжественные встречи, а там — Москва и — он, ее будущий муж и государь!

Нет! тогда она не любила его...

Зачем же теперь слезы текут по ее

смуглым щекам и падают на богатое вышиванье?

— Мама, мама! об чем ты плачешь? — услышала она детский голос.

Это прибежал из соседней палаты ее сынок, князюшка Васюта, пяти или шести лет, хорошенький мальчик.

— Об чем ты, мама? — заглядывал он ей в глаза.

— Ах, сыночек! да все о том, что батюшки князя доселе нету, — отвечала княгиня.

И она, обхватив руками курчавую головку сына, тихо причитала: „И на кого ты нас, сирот твоих, покинул?“

Ребенок тоже громко заплакал, уткнув лицо в колени матери. Княгине стало жаль малютку, и она начала утешать его.

— Не плачь, дитятко, батюшка князь скоро воротится.

— А где он? — спросил ребенок.

Этот наивный вопрос смутил княгиню. Она не знала, что отвечать.

— А я знаю, куда поехал батюшка, — серьезно сказал мальчик, утирая заплаканные глаза.

— А куда, дитятко? — обрадовалась мать.

— Псков громить, — быстро отвечал мальчик: — вчера батюшка за что-то раз-

гневался на Псков и говорит князю Даниле Холмскому: я, говорит, скоро и Псков разгромлю, как разгромил Новгород. А что, мама, — продолжал лепетать ребенок: — и во Пскове есть Марфа посадница и вечной колокол? А знаешь, мама, когда я буду государствовать на Москве, знаешь, кого я разгромлю?

— Кого, дитяtko? — глотая слезы, спросила княгиня.

— Крым! я возьму в полон -крымского хана... А что это ты вышиваешь, мама?

— Орла государева, дитяtko.

— Орла! А для чего у него две головы?

— Это двуглавый орел, дитяtko: это наше государское знамение, это мое вено, это государское знамение моих отцов и дедов.

Вдруг в соседней палате, со стороны „государевых переходов“, послышались чьи-то шаги.

Княгиня радостно, скорее как бы испуганно, встрепелулась. Она узнала знакомые шаги, — шаги того, которого она когда-то не могла полюбить, — его, всегда угрюмого, вечно занятого своими думами о „собрании Русской земли“, всегда хо-

лодного... „Стерпится, слобится“, слова эти не сходили с его уст... И вот „стерпелось“ — она полюбила его...

— Это он!

— Кто, мама?

Шаги все ближе и ближе. Вот он сейчас войдет...

Княгиня сорвалась с места... В дверях стояла могучая фигура мужчины. На рыжей окладистой бороде заиграло солнце — это был он!

Княгиня с радостным криком бросилась ему на шею...

— А уж я, горькая, не чаяла и в живых видеть тебя, света моего!.. Ваня! соколик! радость очей моих!

V

Тит ищет кума Ивана

Миновала суровая московская зима. Солнце все левее и левее восходит за Москвою, когда Тит, выйдя из своей избенки утром, молится, оборотясь лицом к востоку, а потом обернется лицом к своей избенке и видит, что она все больше раз-

валивается: и крыша вся расползлась, и углы позавалились.

Покачает, покачает Тит своею бесталанной головой, почешет в затылке, — а что поделаешь? чем взяться?

Котлы все ярче и ярче одеваются в зелень. Ласточки давно прилетели и не гнушаются жалкой, разваливающейся избенкой Тита.

— Вон, касатые и гнездышко у меня лепют — это к счастью, — утешает себя Тит.

А между тем в избе есть нечего. Плачется Орина и ребенок плачет с голоду, а Тит все утешает жену:

— Погоди, Орина, вот ужю пойду в гости к куму Ивану...

— О, дурак, дурак! — махнет на него рукой Орина: — где ты будешь этого кума искать?

— Где? на Москве! он сказал, он не обманет, он не такой человек...

— Ах, дурак! дурак! да вить Москва, чать, не Котлы!

— Он сам` сказал, он не обманет.

— Да как ты его сыщешь там, дурац-

кая твоя образина? ноли на Москве только и есть один Иван, твой кум?

— Да он сам сказал: спроси, гыть, только кума Ивана, и тебя приведут ко мне... А он не обманет — не такой он человек... А я и хлеба попрошу у него, и леску для избы — он всего даст.

— О, дурак, дурак! что мне с ним делать, Господи!

Идет огорченный Тит и к соседу своему, Илье Щекину, позычить хлеба, а тот ему в ответ: „эх, дурак, дурак! да чем ты отдашь?“

— Да вот я ужо пойду на Москву к куму Ивану.

— Ха-ха-ха! вот дурак!

— Он мне всего даст...

Опять та же история. Все смеются над дураком Киткой, а Тит не унывает.

Наконец, он идет к бабушке, к отцу Нифонту.

— Благослови, отец Нифонт, — на Москву иду.

— Что? как?

— Да пойду к куму Ивану.

— Что-ж, дело хорошее, давно бы пора

надуматься тебе, Титушка: вить он звал тебя в гости.

— Звать-то звал... А вон все смеются, говорят: дурак! в одно слово все дураком называют. А ты как, батюшка, думаешь?

— Да думаю, Титушка, что ты не дурак, а только смирен, и тебе за смирение Господь пошлет.

— А как ты думаешь, отец Нифонт, — я найду его на Москве?

— Непременно найдешь: тебя так к нему и приведут.

— А как ты думаешь, кто он такой? — большой боярин?

— Полагаю, что большой.

— А може, сам митрополит?

— Может, и митрополит.

— То-то и я мекаю.

— О! да ты мужик не промах.

Наконец, Тит решился. С утра натянул на себя рваный чапанишко, подвязал новой мочалкой лапти, достал из соседнего плетня палку и, перекрестясь на восток, а потом на церковь, потянул к Москве, ничто-же сумняся...

Вон наш дурак пошел на Москву

кума Ивана искать, — смеялись ему вслед мужики.

А Тит идет себе, полный веры в своего кума, и посмеивается себе в бороду.

— Вот уж посмотрим, кто засмеется, — думает он себе.

Как нарочно, на этот раз и утро выдалось великолепное. Солнце так ласково греет. Зеленая трава словно живая тянется к небу и не нарадуется, что она опять оживает после суровой зимы. В роще где-то заливаются соловей, а на соседнем огороде, над развесистыми ветлами, с радостным задором выются стаи грачей.

Но Тита не занимает весенний концерт природы. Он думает о цели своего путешествия, о том, что его ожидает в Москве, и обрадуется ли ему кум Иван.

А Москва все ближе и ближе. Золотые маковки церквей так ярко горят на солнце. В некоторых церквах слышится благовест. Тит снимает свою шапчонку и набожно крестится. В голове его шевелится даже игривая мысль при виде рваной шапки.

Эх, ты шапка, ты, шапка моя,
Одного сукна с онучею!

Он смотрит и на онучи. Неказисто сукно на онучах.

— Ну, уж недолго мне носить такие,— думает он.

Но вдруг его поражает мысль. А что если да кум его уехал из Москвы? что если теперь он совсем не живет в белокаменной? Он, доверчивая душа, не сомневался, что найди только он кума Ивана, тот озолотит его. Он почему-то глубоко уверовал в своего кума. Но что если его нет в Москве? Отчего он ни разу не вспомнил ни о нем, о своем куме Китке, ни о своем крестнике? Отчего, если он такой большой боярин, не прислал кого либо из холопей наведаться о здоровье своего крестника?..

А тут вот уже и Серпуховские ворота. Ярко горит на вершине их золотой крест.

Тит — к воротам, снимает опять шапку и крестится.

У ворот стоят два стражника с бердышами. Тит почтительно хотел было проскользнуть мимо них.

— Стой! — закричали стражники.

Тит оторопел и снял шапку.

— Ты кто таков? — спрашивали его.

— Я... я Китка из Котлов; кормильцы...
Кит.

— А куда идешь?

— В Москву, кормильцы.

— Зачем? — продолжался допрос.

— Кум у меня тамotka есть.

— Кум, говоришь? — И стражники многозначительно переглянулись. — Какой кум?

— Да кум Иван, родимые: приходи, гыт, ко мне в гости, Кит Захарыч.

— Это он! держи его!

И стражники схватили несчастного под руки. Он весь затрепетал.

— Батюшки свѣты! за что же! — о-о!

VI

У князя Холмсого

Перепуганного Тита повели прямо в Кремль. Он не знал, что и подумать обо всем с ним приключившемся; но расспрашивать боялся, тем более, что молчали и сопровождавшие его стражники. Но как ни страшно казалось ему все окружавшее, в душе он глубоко верил в своего кума.

— Не такой он человек, — копошилось у него в мозгу.

Скоро стражники подвели его к богатым каменным палатам. У крыльца стояли два ратника с алебардами в руках.

— Дома князь его милость боярин Данило Димитрич? — спросил один из стражников.

— Дома, сейчас от великого государя пришел, — отвечал ратник.

— Поди и доложи боярину: от Серпуховских деи ворот стражники пришли по самонужнейшему делу.

Ратник вошел в хоромы. Через несколько минут он воротился и приказал стражнику от имени князя итти в покои.

— Там тебя проведут, — пояснил он.

В покоях стражника встретил молодой барченок, сын боярский, и провел его во внутренние покои князя.

Князь Холмский задумчиво ходил вдоль образной палаты в ожидании стражника. Седая, но мужественная еще голова его была низко опущена на грудь, на которой ярко блестела золотая гривна. От времени до времени он теребил нетерпеливо свою длинную, серебристую бороду.

Да и было о чем задуматься! Сегодня великий князь так гневен. Из Пскова приехало посольство с жалобой на своего князя Ярослава Владимировича и на его наместников. Великий князь сегодня намерен пустить послов к себе на очи, но очень гневен: как бы Холмскому не пришлось вести рати против псковичей, как он водил против новгородцев. А легко ли проливать кровь своей же братьи, православных! Вон и до сих пор по ночам, в тонце сне, ему видится часто Марфа посадница, которая рвет свои седые косы и горько плачется: „Отдай мне моих сыновей! верни мне мою вотчину, Великий Новгород! зачем отняли у него вечный колокол!“.

— Ты что? — спросил он вошедшего в эту минуту стражника.

— Я от Серпуховских ворот, ваша милость, — отвечал последний, кланяясь.

— По какому такому самонужнейшему делу?

— Да мужичка, боярин княже, задержали у ворот.

— Какого мужичка?

— Из Котлов, боярин: кума Ивана пытается.

— А! кума Ивана... Помню, помню...
Спасибо за службу...

— На том крест целовали, ваша милость.

— Спасибо, спасибо... Ин пусть войдет
ко мне мужичек.

Стражник вышел, бережно ступая по одной половице. Через несколько минут в дверях показалось испуганное лицо Тита. Сзади его тихонько подталкивал молоденький боярченок: „иди же! иди — не бойся!“.

— А! здравствуй, Тит Захарыч! — добро пожаловать! — ласково обратился к нему князь Холмский: — что, к куму Ивану в гости пришел? Давно, давно бы пора. А то уж мы подумывали, что ты заспесивелся, и видеть не хочешь своего куманька.

Тит совершенно растерялся. Все, что он видел кругом, все, что с ним произошло этим утром, казалось ему сном. Эти стражники с бердыщами, схватившие его, едва он произнес имя кума Ивана, этот Кремль, через который его провели как осужденного на казнь; эти богатые палаты, в которые его ввели, богатство и великолепие, бросившиеся ему в глаза, — все это казалось ему волшебством, дьявольским навождением.

И вдруг этот седой боярин весь в золо-

те, точно образ Николая Чудотворца, в лотой ризе; называет его Титом Захарычем, величает по имени и отчеству, словно какого боярина — „добро пожаловать“...

— Господи! что-ж это такое? — мутилось у него в голове. — Да ведь это не кум Иван... У того рыжая борода, и тот моложе этого...

— Ну, как поживаешь, милостивец? — говорил между тем этот седой боярин, с золотую гривною на шее: — здоров ли твой сынок Иванушка? что твоя жена, здорова ли?

От изумления бедный Тит не мог промолвить ни слова и стоял весь растерянный. Только дрожащие руки его нервно тербели жалкую шапчонку.

Холмский положил ему руку на плечо, желая ободрить:

— Я все знаю, — говорил он: — мне твоему все рассказал. Я знаю, как твой богатый сосед не хотел пустить к себе на ночь прохожего, а ты сжалился над ближним, ты спас христианскую душу от наглой смерти, — и тебя за это Бог наградит на том свете, а государь великий князь пожалует тебя на этом. А знаешь ли ты, кого ты спас?

— Не ведаю, родимый, — пробормотал допрашиваемый.

— И не догадываешься?

— Отец Нифонт сказывал: либо большой боярин, либо сам владыка.

— Добро, добро, ты сам его скоро увидишь.

VII

Псковское посольство

У государя великого князя Ивана Васильевича всея Руси прием псковских послов.

Великий князь сидит в Грановитой палате на державном месте в полном великокняжеском облачении. На голове у него шапка большого выхода. В одной руке скипетр, в другой — державное яблоко. Золотые ризы прикрыты бармою. Длинная рыжая борода расчесана по волоску и тоже отликает червонным золотом. По правую его руку стоит князь Данило Холмский. Ниже, у подножия трона, около стола, стоит думный дьяк Курицын и осторожно расправляет лежащие на столе

свитки — государственные грамоты и договоры. По обеим сторонам полукругом расположились именитые и думные бояре. По середине палаты, ближе к державному месту, кучкою, сбившись как испуганное стадо овец, стоит посольство великого Пскова: два посадника, именитые бояре и по два посланца от каждого пригорода.

В стороне от всех, у окошка, стоит наш знакомец, милейший Тит Захарыч в своем обтрепанном чапанишке, и добрые глаза его, то и дело застилаемые слезами, с неизреченною любовью смотрят на того, кто сидит на державном месте...

„Так вот кто кум Иван!..“

Великий князь держит речь. Он гневен, заряжен негодованием.

— Я вам говорил тогда, когда жаловал мою отчину, Псков, золотым кубком (отчетливо и гулко лилась грозная речь на всю Грановитую палату), — я говорил: смотрите же, псковичи, я, князь великий, хочу вас, свою отчину, держать в старине, и вы, наша отчина. слово свое держите честно и грозно над собою и наше себе жалованье. Чтоб вы это знали и помнили! — Помните?

Мертвая тишина. Только слышен нерв-

ный порох свитков под дрожащими пальцами дьяка Курицына да у окна — тяжелый, глубокий, но едержанный вздох.

— Нет, вы это забыли! Забыв мое великого князя жалованье, вы присылали ко мне послов с бесплепичными, известными речами, что деи московские послы, едучи Псковскою землею, по дороге обижают людей, у проезжих деи отымают лошадей и животы, грабят по станам и на подворье в городе, требуют деи от Пскова грубо поминок не по силе, а что им деи Псков дает, то не берут. И то ваша вина! Забыли ваше грубство?

Та же мертвая тишина. Слышно только, как за окном, на карнизе, голуби воркуют.

— Слушайте, псковичи, моя отчина! — великий князь возвысил голос. — Слушай и ты, кум!

Тит вздрогнул всем телом и едва не упал от ужаса. Он понял, он видел, что последние слова великого князя обращены к нему. Но глаза Ивана Васильевича, доселе грозные, смотрели теперь на трепещущего Тита ласково, как тогда, зимой, у него в избе.

— Слушай, кум, как я учу моих ослуш-

ников и как жалую добрых людей, — пояснил великий князь, и снова обратился к псковскому посольству, которое с недоумением смотрело на стоявшего у окна оборванного смерда.

— Слушайте ваши вины, послы Пскова, моей отчины! Когда князь Ярослав Владимирович, которого я вам дал, совокупно с посадниками написал грамоту о смердье в работе, вы супротив той грамоты восстали крамолою — у многих посадников дворы порубили, посадника Гаврилу убили на вече до смерти, а смердов Стехна, Сырня и Лежня посадили в погреб. Опасаясь смертного убийства, достальные посадники бежали к нам на Москву, спасая свои головы, а вече написало на них мертвую грамоту и закликали их в Псков на смертную казнь. Помните, — в те поры я указал Пскову, моей отчине, откликать от смерти посадников, отпечатать мертвую грамоту и принести повинную князю Ярославу. Что-ж вы сделали тогда? — Забыли? — Так я напому вам!

Послы стояли бледные, не смея поднять глаз. Иван Васильевич глянул на князя Холмского, и тот стоял бледный, безмолвный.

Дьяк Курицын молча подал князю какой-то свиток.

— Да, вот она, — сказал великий князь, пробегая глазами свиток и возвращая его дьяку. — И вы, псковичи, моя отчина, и в те поры сказались мне, великому князю, послушны: смердов из погреба не выпустили, посадников не откликали, князю Ярославу челом не доби́ли. Отвечайте; истину я говорю? Отвечайте же?

— Истину, господине, — слышался робкий ответ.

— Я вам не господин! — грозно перебил посла великий князь. — Будет и того, что Новгород умалял до господина мое государское титуло. А что я сделал с Новгородом? — Ноли и Псков, моя отчина, того же хочет!

— Смилуйся, государь! положи гнев на милость! — упали послы на колени.

— Встаньте! — приказал великий князь.

Никто не шевелился. Все замерло в палате.

— Встаньте!

Все послы повалились в ноги точно перед иконой. Слышно было, как боярские лбы стукнулись о дубовой помост Грановитой палаты.

— Я вам говорю — встаньте! — в третий раз сказал Иван Васильевич.

— Не встанем, слышались слабые голоса: — либо вели снять с нас головы, великий государь, либо отложи твое нелюбие — все равно нам живыми не быть.

Великий князь глянул на Холмского. В глазах у своего любимца он заметил слезы. Плакал, закрываясь шапкой, и тот, который стоял у окна.

— Добро! сказал Иван Васильевич! — во имя святыни отчины моей, Пскова, во имя святыне Живоначальные Троицы, я, государь и великий князь Иван Васильевич всеа Руси, говорю ныне в последний раз: если отчина моя, Псков, исправит мое слово — отпечатает мертвые грамоты на посадников своих и отключит их и выпустит смердов из погреба и учнет потом бить мне челом о своей нечести, то я, великий князь, отдам Пскову, моей отчине, мое нелюбие и буду вас миловать по пригожаю. Такрово мое слово! Встаньте.

Послы встали. Не одна грудь вздохнула глубоко, глубоко, точно она долго придавлена была камнем. Тот, который стоял у окна, широко крестился.

VIII

Добро за добро

Когда послы встали и отошли в сторону, великий князь подал свой скипетр князю Холмскому, а державное яблоко — дьяку Курицыну, и сам поднялся с трона. Глаза его светились радостью.

— Ну, куманек, подойди теперь ты ко мне, — сказал он, ласково взглянул на Тита.

Тот робкими шагами подошел к трону и упал на колени.

— Узнал меня? — улыбнулся Иван Васильевич: — узнал кума Ивана?

И он протянул к Титу свою руку. Тот с благоговением прильнул к ней, словно к руке Спасителя на плащанице, и заплакал от умиления.

— Что, узнал меня? — повторил великий князь.

— Узнал, батюшка надежа-государь, узнал! — всхлипывал растроганный бедняк: — в каком бы ты одеянии ни был, осударь батюшка, я узнал бы тебя, узнал бы твои светлые очи.

— Добро, добро! А отчего долго не приходил ко мне?

— Не смел, осударь батюшка.

— А ты догадался, что это был я у тебя?

— Где, государь, догадаться!.. Ноли я смел подумать, что сам батюшка, надёжа-государь... А-ах!

И он снова залился горячими слезами.

— Я думал — большой боярин, либо именитый купец, либо... а тут... о-ох!

— Добро! добро! Встань!

С этими словами великий князь повернулся к послам великого Пскова и сказал:

— Видите человека сего? — Он — смерд и смердьего рода. Но он для меня почетнее боярина. И вот почему: он соблюдает заповедь Христову — „странного приими“... Прилучилось мне ноне зимою действия некоего ради тайным образом выйтти из Москвы, и не по образу великокняжеского хождения, а в образе простого селянина. Не успел я отойти стадий пять-шесть от Серпуховских ворот, и се внезапу возьмется мятель велия, и вста ветер сильный, и объят мя тьма ночная. Воротиться к Москве — за темнотою и сугробами снежными, дороги не найду; далее итти —

моготы моей нет. Пришлось погибать наглою смертью в поле. Но Господь, не воздавая мне по грехам моим, оказал мне свою милость. Внезапу увидел я свет не-вдалеке. То были Котлы. Я на свет иду, а сам мало-мало не падаю от утомления. Вижу — изба хорошая, новая, большая и огонь в ней светится. Я стучусь в окно — и меня гонят от окна аки пса смердящего. Я затаил в сердце моем гнев, поминючи словеса Христовы — за зло платить добром, — и постучался в другую, бедную избенку. В ней меня приняли как отца родного. А не всякий бы принял в такой неподобный час: у того, кто меня принял, в ту ночь должна была жена разродиться... — Вот кто принял меня! — указал великий князь на смущенно стоявшего Тита. — А наутро я с ним и покумился. Но я все еще в долгу, перед моим спасителем. Видите, какая на нем бедная одежонка, и то моя вина! Каюсь перед послами отчины моей, Пскова: мне первому подобаёт награждать за добрые дела и казнить за злые.

Потом, снова обращаясь к Титу, великий князь спросил:

— Скажи, кум: твоя изба такая же ветхая, как зимой была?

— Совсем разваливается, государь, — был ответ,

— И скотинки у тебя нет?

— Нету-ти, надежда, государь, — одна белая кошечка.

— Добро!—все будет у тебя.—Федор!— обратился великий князь к дьяку Курицыну: — напиши в мой государев приказ, чтоб крестьянину Титу в Котлах отпущено было лесу на избу, хлеба на прокорм и на семена, пару лошадей, коров, овец и всего, что понадобится; да чтоб мои государевы плотники срубили ему добрую избу; да сейчас же прикажи одеть его во все новое и доброе, а уж князь Данило (Иван Васильевич взглянул на Холмского) позаботится, чтобы у моего кума все было и всего вдоволь.

Тит снова упал на колени и только качал головою, за слезами не будучи в состоянии выговорить ни одного слова.

— Ну, полно, кум, вставай! — ласково сказал Иван Васильевич.

Тит поднялся, шатаясь, точно пьяный.

— Ну, кум, а чем же ты меня отдарить? — улыбнулся великий князь.

Тит не знал, что отвечать, и смотрел как-то растерянно.

— Вот что, кум, — продолжал вели-

кий князь: — подари мне свою белую кошечку. Когда я, в те поры, воротясь от тебя, рассказал государыне княгине, Софье Фоминишне и сыночку моему, князю Васюте, о том, как я ночевал у тебя и как ласкалась ко мне твоя белая кошечка, — с той поры сынок мой не дает мне проходу: достань да достань ему белую кошечку от котловского кума. — Так смотри же, привези мне кошечку. Да кланяйся куме Орине и другой куме — Щекиной, и отцу Нифонту скажи, что я кланяюсь ему саном протоиерея и палицею, с возложением на него златой митры. Это дело святейшего патриарха — я сам скажу ему о том.

— А вы, — обратился он к псковским послам: — скажите Пскову, моей отчине, мое последнее слово, и помните, что слово мое крепко.

И великий князь медленно направился к выходу.

IX

„Дуракам счастье“

Вечерело. Весеннее солнце, опускаясь за верхушками соснового бора, раскинув-

шегоя к западу от Котлов, последними лучами золотило разнесенную ветрами и непогодю соломенную крышу жалкой избы Тита.

Под избою, на осунувшейся завалине сидела жена Тита, Орина, с ребенком на руках. За последнее время Орина очень исхудала и побледнела. Тихо качая ребенка, она тревожно поглядывала на дорогу, ведущую к Москве. С раннего утра ушел туда ее горемычный муж искать кума Ивана — и словно в воду канул.

Горько и стыдно ей было за мужа. И добрый он был мужик и ласковый, никогда ее не бил и дурным словом не обзывал; но — нечего греха таить — придурковат был. А с того времени, как покумился с каким-то прохожим, уж и совсем стал дураком. Ничего-то он не делал, да и делать-то без скотины и хозяйства ему было нечего. А ему все кажется ни о чем. Забрал себе в голову, что у него на Москве есть кум богатый — либо набольший боярин, либо набольший протоп, и все ждет, что ему с неба счастье свалится. И все Котлы уж стали над ним смеяться: дурак да дурак, с целою Москвою покумился.

Так как дело было к вечеру и скоро

должна была возвращаться в Котлы скотинка с поля, то котловские бабы одна за другою стали сходиться к избе Тита, которая была крайнею в поселке, чтобы там поджидать своих коров да телушек.

— Ждешь, видно, муженька, Оринушка? — спрашивает одна баба, садясь на завалинке и участливо подпирая щеку ладонью.

— Поджидаю, родимая, — отвечает Орина.

— Э-э-хе-хе! житье наше горькое, касатая.

— И не говори, мать моя! — соболезнает другая баба, присаживаясь тут же: — али легко жить с дураком-то мужем.

— Где легко! Вон мой-то идол хоша и дерется, а все у нас и лошадка есть и коровенка.

— Вестимо: что нашу сестру не бить, коли за дело.

— Уж и подумаю я, мать моя: как это в целой Москве найтти кума Ивана!

— Вот поди-ж ты! пошел искать.

— Где там найтти! найди иглу в стогу сена... Уж коли-б он, кум-от московский, был путящий человек, а не озорник, — как бы не сказать: ищи де меня там-то, на такой-то улице, а вот так и так меня

зовут, и вот так прозывают. А то на! — спроси кума Ивана!

— Озорник и есть, тьфу!

В это время по дороге, ведущей к Москве, показалась пыль, и видно было, что кто-то ехал парой. Лошади были бойкие, красивые, да и телега не простая, а совсем господская, выкрашенная голубою краскою.

В телеге сидел и правил лошадьми боярин не боярин, мужик не мужик, а скорее посадский человек.

Телега все ближе и ближе. Вот она поворачивает к избенке Тита.

— Кто-б это был такой?

— Матыньки! кажись, сам Китка?

— Китка и есть! Ах, мать моя!

— Тпрру! — это и был Тит Захарыч.

Осадив хорошо выезженных лошадей, он выскочил из крашеной, господской повозки и бросился целовать жену и сына.

— Ну, молись, Оринушка! молись земно! — захлебывался он от радости: — шлет тебе поклон сам благочестивейший государь и великий князь Иван Васильевич всеа Руси! Вот кто таков кум Иван! Все это мое (он указал на лошадей и повозку, нагруженную разными мешками и узлами),

— все это подарил сам надѣжа-государь, куманек наш. Он же пожаловал нам и коровок, и овецек, и лесу на новую избу — и всего, и всего! И велел построить нам новую избу своим государевым плотникам. Слава нашему государю Ивану Васильевичу!

Он казался помешанным от радости. Жена же его, казалось, окаменела от неожиданности: она только прижимала к себе ребенка и тихо повторяла! „Владычица! государев крестник! Матушки мои! сам князь Иван Васильевич! А я-то, бесстыжая, орала при нем, рожамши! Светы вы мои! сыночек мой! осударев крестничек!“.

Неслыханная весть быстро разнеслась по Котлам. Все спешили к избенке Тита, все говорили, удивлялись, спорили, горячились. Но всех покрывал один голос.

— Сказано; дуракам счастье!

— Вестимо, дуракам.

Но с тех пор, как Кит Захарыч в своем новом доме под зеленою крышею зажил чуть не боярином, он пошел за умного.

СОДЕРЖАНИЕ:

	Стр.
I. Неизвестный путник	3
II. „Не ангел ли это?“	11
III. Неожиданное кумовство	16
IV. Государыня Софья Фоминишна	25
V. Тит ищет кума Ивана	34
VI. У князя Холмского	40
VII. Псковское посольство	45
VIII. Добро за добро	51
IX. „Дуракам счастье“	55



Читайте! Выписывайте!

РУССКИЕ КНИГИ

СКЛАД ИЗДАТЕЛЬСТВА «НОВОСТИ»

(13 b) München 19, Nymphenburgerstraße 207

По желанию заказчиков книги высылаются
наложным платежем.

**М. Зоценко.
СОБАЧИЙ НЮХ**

Содержание: Актер. Любовь Клеопатры. Свадьба при Иоанне Грозном. Счастье французского маркиза. Баня. Любовь. Стакан. Собачий нюх. Нервные люди. Кино-драма. Телефон. Режим экономии. Монтер. Аристократка. Хамство. Агитатор. Серенада. Фома неверный. Западня.

Цена 5 марок.

Агнивцев.

Случай в Сент-Джемском парке. Юмористические стихи.

Цена 3м. 50 пф.

АНЕКДОТЫ

итальянского возрождения.

Цена 3 марки.

Что пишут о ДП и СССР (по материалам иностр. прессы.) Цена 2 м.

Новости иностранной прессы (сборник переводных американских статей).
Цена 2 марки.

Учебник французского языка, выпуск I — 8 м.

Цебриков. Учебник испанского языка, 3 части со словарем — 27 марок.

Учебник испанского языка Алмазова Цена 20 м.

Словарь русско-испанск. и испано-русского языка. Алмазов. Цена 8 м.

Русско-испанск. разговорник. Ц. 6 м.

Русско-украинско-английский разговорник. Цена 10 м.

Русско-французский разговорник 10 м

Лев Толстой — Повести и рассказы — 96 стр. — Цена 6 м.

Чехов (вып. II) — Женское счастье и др. Цена 5 м.

Чехов (вып. III) — Лишние люди. 5 м.

Чехов. Каштанка. Цена 4 м.

Гаршин (вып. I) — Красный цветок и Надежда Николаевна. Цена 8 м.

Жевахов, князь, тов. Обер-Прокурора Свят. Синода, — Воспоминания, 450 стр.
Цена 25 марок.

Банкрофтхиль, профессор Вассарского Колледжа САСШ, — Жизнь Христа
Цена 18 марок.

Иво Има — Похитители Разума (фантастич. приключ. роман) Цена 15 м.

Книжка-Малышке (детская книжка с рисунками, в стихах). Цена 7 м.

Джекобс и Шрот — Новеллы. Ц. 3 м.

Петровский — Политическая жизнь США. Цена 3 м. 50 пф.

Проф. Е. Котляревский — Сила воли. Путь к личному магнетизму, к уверенности в себе и неограниченному влиянию.
Цена 5 м. 50 пф.

Ивановский. Бессмертие (юмор, сатира, чистое искусство) 15 рассказ. Ц. 10 м.

С. Черный. Сумбур трава. Ц. 5 м.

С. Черный. Ослиный тормаз. Ц. 5 м.

Грин — Колония Ланфиер — 8 м.

Сборник песен. Цена 8 марок.

Konjuschewskij,
Bronislaw

~~100~~
10

Authorized by Military Government for Bavaria